



## А. ГИЗЕТТИ

### О Блоке

О том, кто сказал:

Молчите, проклятые книги,  
Я вас не писал никогда<sup>1</sup>, —

о том, кто больше всего боялся всегда, что «поздний историк» напишет о нем когда-нибудь «внушительный труд» и «замучит, проклятый, ни в чем не повинных ребят годами рождения и смерти и ворохом скверных цитат», о том, кого все мы, без различия умственных и идейно-общественных течений, только что потеряли, — нельзя и не надо «объективно» празднословить...

Но нельзя нам, современникам Александра Блока, молчать о нем, нам, для которых он являлся всегда единственным другом души, кто чувствует его творчество, как голос времени, как откровение о душе нашего поколения. Ведь только такую интимную связь настроений можно объяснить небывало глубокое и мощное влияние Блока, особую любовь, «литературно» еще почти не выразившуюся, но, несомненно, живую в «нас». Он сам эту связь чувствовал и много раз выражал (в особенности поэмой «Возмездие»). Нас, о ком, перефразируя слова одного из «старых» поэтов, можно говорить вообще, как о «рожденных в восемьдесят первом году иль около того», давно покорила и, помимо сознания, воли, зачаровала поэзия Блока. Связь «наша» с ним — связь душевная и неразрывная. Вот об этой связи можно и должно говорить и с этой только стороны хочется мне взглянуть на весь ход творчества поэта.

Один из людей вашего поколения, глубоко чувствовавший и понимающий поэзию Блока, как-то сказал о нем в интимной беседе, под впечатлением одного из публичных выступлений поэта: «Вот это настоящий поэт! Чувствуется, что он прежде всего поэт-творец, что это для него главное: он не живет и...

“между прочим”, пишет стихи, он — творит свою поэзию, ну и конечно, кроме этого, как все мы, живет». Действительно, так-ков Блок. Не надо знать его биографии, чтобы воссоздавать его *истинную* личность, сама его поэзия есть раскрытие его «главной» внутренней жизни со всеми перипетиями и катастрофами. Блок вступил в русскую поэзию, как юный рыцарь мечты, поэтической грезы, которая ни в чем не хочет подчиняться жизни-будням, творит свой мир, заявляет свои права. И в раскрытии, в утверждении этой грезы, которая, казалось, навеки погребена и упразднена «трезвым» веком, в оживлении, воскрешении этой «музыкальной темы» (как он выражался сам) заключается первооснова его власти над душами, открывается первая черта лица его музыки.

Но это еще не все. Блоку, как поэту любви и «Прекрасной Дамы», неотъемлемо присуща и особая форма — облик этой грезы, и эта форма опять-таки особенно нам дорога и нужна, особенно чаровала всегда. Блок по-новому заговорил о любви, о личном чувстве, столь загнанном, «разоблаченном», опошленном и разумно иссушенном в прежней русской жизни и литературе. Образы средневекового рыцарства, культа дамы и Мадонны, глубокое влияние мистической эротики Владимира Соловьева и многое другое ярко заметное в стихах о «Прекрасной Даме», — все это лишь удачно найденная, «оживленная» форма — оболочка основной темы, затронувшей даже тех, кому и рыцарство, и Соловьев совершенно чужды, — тема о «единой на всю жизнь» любви к женщине, чувстве, сложно сплетенном с любовью к природе, родине, к идеалам. Блок говорит, что доньше есть и живет такая единая истинная любовь и только пока она есть, — чиста и достойна жизнь. Эта любовь поднимает человека, она впервые открывает ему, юному, глаза на жизнь и на смерть, она таит в себе величайшие возможности духа, заставляет человека по-иному, по-новому почувствовать весь мир, всю жизнь. Эта линия творчества никогда не замирает, она идет вплоть до драмы «Роза и Крест».

Ты в поля отошла без возврата,  
Да святится имя твое.  
Вижу красные копыя заката  
Протянули ко мне острие.

.....

О исторгни ржавую Душу,  
Со святыми меня упокой,  
Ты, держащая море и сушу  
Неподвижно тонкой рукой<sup>2</sup>.

Хрупкая, нежная эта любовь, и тяжкое предстоит ей испытание. Юная душа, впитывая внешний мир, наталкивается в нем на проявления зла, безобразия, пошлости, мечта далеко расходуется с жизнью. Нежно-доверчивое отношение к миру начинает сменяться иным — *ироническим*. Сначала эта ирония еще мягка. Поэт преисполнен веры в призрачность и преходящесть зла, в искупление «болотных чертенят», стихийно-темных сил природы и быта, ибо «зацветает и им купина». Но чем больше предъявляет свои права *город*, чарующий рыцаря своим «электрическим сном», своей пестротой и красивыми соблазнами, своими страстями и преступлениями, тем сильнее начинает звучать в поэзии Блока нота иронии *трагической*. Прекрасная дама оборачивается то печальной девушкой, «отведенной на шабаш и сданной с рук на руки черту», опозоренной безобразным «карликом» города в день весенней радости, то цыганкой, что «плясала и монистом брэнчала, и визжала заре о любви», то «вольной девой в огненном плаще», которая увлекает рыцаря — уже похожего на «бедного Пьеро», — на темные страшные пути. Ее не станет по ночам ждать мать, за нее не отомстит и жених, ей «все, — лишь продолжение бала, из света в сумрак переход», под снежной маской вьюги уходит она «с другими» и покидает тоскующего поэта легко, весело. И чем больше узнает поэт эту страшную чаровницу — Фаину («Песня Судьбы»), тем яснее чувствует себя обреченным, навсегда покинувшим счастье «тихого домика», где осталась первая счастливая любовь. Не потому, что этой любви ему «мало», но потому, что он «другой», слишком беспокойный, слишком сроднившийся с кошмаром города...

Быстрее кружится вихрь. Вся жизнь представляется «балганчиком», где вертятся пестрые куклы, где «невеста картонная» и кровь течет «клюквенным соком» и «даль в окне нарисована только на бумаге». Но и на самом низу бездны, проклиная и жестоко обличая себя — «позорный, продажный», «страх познавший Дон-Жуан», завсегдатай ресторана с единственным другом — самим собою, что «в стакане отражен», видит поэт пред собою ее — Незнакомку, гордо и свободно шествующую между пьяными, дорожит сокровищем на дне души и любит синими очами, что «цветут на дальнем берегу», зная, что эти очи ему помогут найти исход из «Ада», из «страшного мира». Исход этот указала заблудившемуся среди вьюг путнику нежная и удалая песня коробейника, правду новую обрел поэт в любви к родине, в необъятной, непонятной, несчастной и прекрасной России...

И в этом третьем слове — он опять с «нами». Если любовь-мечта «нам» близка, как новое откровение о связи «личного» и мирового, если разгул города и смех арлекина помогли нам признать право и правду жизни, непобедимой под самыми безобразными ее оболочками, нота любви к России, завершая художественное самотворчество Блока, окончательно сделала его поэтом *наших* дней, в органической преемственности с лучшими заветами русской литературы. Но это именно новая любовь, не «ответ», не «успокоение» и «синтез», не «поглощение личного» — «всемирным», а прежде всего тревожное вопрошание родины:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться.  
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма.  
Уж не пора ль разлучиться, разладиться.  
Вольному сердцу на что твоя тьма.  
Много ль ты знала? Иль в Бога ты верила.  
Что там услышишь из песен твоих.  
Чудь начудила, да меря намерила  
Гатей, дорог да столбов верстовых.

И он готов уже с горечью спросить: «Что ж ты маячишь мне, сонное марево, вольным играешься духом моим...» Но нет, поэт родины не проклянет, не покинет...

Приюти нас в даях необъятных,  
Как нам жить и плакать без тебя.  
(«Осенняя воля»)

Он узнает ее во всех обликах, и «под узорным платочком цветным», и под черным клобуком монашества, ему дороги и степи с «пестреющими бунчуками», и «прекрасная внучка воряга, что клянет половецкий полон», и в тех же степях вставшая новая Россия, новая Америка с заводами и рудниками, та, для которой «черный уголь — подземный Мессия». Он разделяет все тревоги и радости родины, он любит ее всегда: все равно, грядет ли она на «новое Куликово поле», или превратилась в страшное сонное царство грешных обывателей на «перилах пуховых», страдает ли муками «дней войны» и «дней свободы», или затихает «в молитве и песне раздумчивой». Всегда — она родина, всегда — любимая. Вот почему Блок нашел мужество художественно воплотить и тот самый новый лик, которым обернулась к нему родина, в октябре 1917 года. Он давно знал, что погибла «древняя сказка» монархии, что «король на площади» оказался каменным истуканом, но он знал и то, что за низвержением истукана придет ужас и отчаянье голода, когда

лишь немногие сохраняют веру в «корабли» с «новой вестью». И если Блок-публицист (в статьях «Россия и интеллигенция»), развивая старую свою тему о роковом и праведном взрыве гнева масс против культуры верхов, не нашел сразу верного тона и наряду с глубокими, меткими мыслями сказал и еще что-то новое, Блок-поэт в этом не повинен.

«Двенадцать» — вечно останется в русской литературе как гениальный образ великой катастрофы. Тут уже нет вопроса об оценке, надо только смотреть и слушать. Жизнь обернулась так, что люди в «рваном пальтишке» с «австрийским ружьем» «палят пулей в святую Русь» и даже в им неведомого, Христа, за сугробами скрытого, который в *ином* смысле все же с «ними» и их выводит на дорогу. Какую? Этого поэт не знает, не знаем еще и мы. Но он знает другое. Он знает, что нет такой ночи, за которой снова не раздавался бы призывный крик петуха. Он знает, что «велик мрак и холод грядущих дней», что невыносимо трудна доля поколения, которому надо и через это пройти. Но «усталость», «месть» и «отвращение» «затуманят сердце» и «скривят уста» неизлечимо лишь у тех, кто не читает по звездам, кто не умеет быть «сильней и смелей», кто не знал, что прошедшее есть, что «грядущего ночь не пуста». А поэт это знает и говорит другу-современнику: «Железною маской лицо закрывай, поклоняясь прошедшим гробам, охраняя железом до времени рай, недоступный безумным рабам». Тайна поэта — этому научил нас навсегда Блок — в соединении глубочайшей внутренней свободы, независимости духа с непосредственным чувством своей связи с культурной традицией истории и единством человечества. Блок сознает кризис гуманизма наших дней и пытается формулировать новое руководящее начало жизнепонимания. Это ему не удалось, потому что кризис этот «не в смерти, а в славе». Гуманизм в крови у Блока остался, оттого-то так и страдает он, в «не-гуманическую» нашу эпоху. Идеал эстета-артиста и стихийную правду масс нельзя отрывать от гуманизма, это показал сам Блок, ибо не кто иной, как он, с убийственной ясностью изобразил обе бездны: эстетизм культуры «русских денди»<sup>3</sup> и подземный гул стонущих, страшных в вихре мести «низин». Блок связан духовно и с Европой (Гофман, Гейне, Флобер, Италия), и с глубинными традициями русской культуры (Ап. Григорьев, Лермонтов, даже Пушкин). И в одной своей речи он прославил ту верховную свободу творчества, которая помогает поэту преодолеть трагедию, «ни на минуту не отворачиваясь от нее»<sup>4</sup>.

